

абсолютно трансцендентного, Бога капризного, несправедливого, беспощадного и жестокого, есть еще третий, христианский аспект Бога — Бога Любви, Бога Жертвы, Бога истощающего Себя и исходящего кровью, Бога, ставшего человеком. И только этот аспект Бога может быть принят. Теодицея совсем не есть оправдание Бога перед судом человека, теодицея есть защита Бога от ложного человеческого понимания Бога, против клеветы, возведенной на Бога. Единственная возможная. Теодицея есть Голгофа, искупительная Божья жертва, примиряющая Бога и человека. Вот почему между нашей грешной, законнической, посясторонней жизнью и жизнью потусторонней, райской, Царствием Божиим, лежит жертва, страдание, подвиг, смирение — путь, которым шел сам Бог, Сын Божий, который смирил Себя и принял зрак раба. Это и есть единственное разрешение темы Л. Шестова. Заслуга же Л. Шестова в том, что он защищает индивидуальную человеческую душу, которая со всех сторон насилуется и истязается.

Гр. П. БОБРИНСКИЙ

Власть разума

«Если бы взвешена была горесть моя и вместе страдание мое на весы положили, то ныне было бы оно песка морей тяжелее...» Стих этот служит эпиграфом к только что вышедшей в Париже книге Льва Шестова «На весах Иова». Под заголовком значится: «Странствования по душам». Под этим названием большинство очерков, вошедших в книгу, в свое время были напечатаны в толстых журналах. Собранные вместе, объединенные внутренним содержанием, они представляют сейчас лишь отдельные части одного целого, главы одной книги о горести и страдании, о «великой и последней борьбе», которая «ждет человеческие души», как гласит другой избранный автором эпиграф — из Плотина.

«Философией недосказанного» — мог бы назвать свою книгу Лев Шестов. Когда-то Плотин на заданный ему вопрос, что такое философия? — ответил: *самое важное*. О самом важном — о никем недосказанном, по существу своему неизреченном, хочет говорить и автор «Странствований по душам». Это, как он сам сознается, — область неестественного, вечно фантастического. Чтобы в ней что-нибудь разглядеть, нужно прежде всего отказаться от тех приемов мышления, которые преследуют одну цель: достоверность. Может потребоваться и большая жертва: «готовность признать, что достоверность вовсе

не есть предикат истины или, лучше сказать, что достоверность никакого отношения к истине не имеет».

В этой выдержке ясно выступает отношение Шестова к тем методам мышления, которые господствуют в современной философии и начало которым положили еще стоики и Аристотель. Предмет философии не подлежит суду разума, не подлежит суду той философии, для которой математическая достоверность — дважды два четыре — адекватна истине и которая, во что бы то ни стало и вопреки своей собственной сущности, хочет стать наукой, т. е. мыслить общеобязательными суждениями.

Истина и научное знание несовместимы: «Истина не выносит оков знания, она задыхается в тяжких объятиях “самоочевидностей”, дающих достоверность нашему знанию», — комментирует Лев Шестов слова смешного человека в рассказе Достоевского («Сон смешного человека»). Ни один «разумный» человек, говорит он, не может согласиться со словами Тертуллиана: «не стыдно, потому что постыдно... оттого и заслуживает веры, что бессмысленно... несомненно, потому что невозможно» (речь идет о крестном страдании, смерти и воскресении Сына Божия). Несколько раз возвращается в своей книге Шестов к этим словам, как бы замороженный ими. Ибо в них может быть всего разительнее выступает противоречие между «самым нужным», ничего общего с категориями рационалистического мышления не имеющим, и достоверностью научного знания.

А вот и другие слова Шестова, внутренне связанные с приведенными выдержками и не менее нужные для понимания шестовского любомудрия: «История тем и замечательна, что она с неслышанным, почти сознательно человеческим искусством, замечает следы всего необычного и экстраординарного, происходившего в мире».

«Оттого-то и историки, т. е. те люди, которые наиболее всего интересовались прошлым человечества, особенно прочно убеждены, что все в мире происходило всегда “естественно” и по “достоверным основаниям”... Историк ценит только то, что попадает в реку времени и питает ее, остальное его не касается. Он даже убежден, что остальное бесследно исчезает... Важен Сократ “деятель”, тот, который оставил после себя следы в потоке общественного бытия. “Мысли” Сократа нам нужны и теперь. Нужны и некоторые поступки и дела его, которые могут служить образцом для других, — как, например, его мужество и спокойствие в час смерти. Но сам Сократ — разве он кому-нибудь нужен?..»

Да, нужен, — отвечает Лев Шестов. Ибо именно то, что из Сократа сделало Сократа, и есть самое важное — важнее его мысли, важнее его деятельности. Это именно то, что было свободно в нем от «страшной власти чистого разума».

Самые сокровенные тайники души, прозревшей и заглянувшей в тайны несказанные, глубочайшие побуждения гения, побуждения

еще свободные и еще не попавшие под власть разума, — вот достойный предмет для философствования. «Сколько бы мы ни изучали, — пишет Шестов в другом месте, — мы ничего не узнаем, скорее, теряем способность когда бы то ни было узнать что бы то ни было о чудесах и тайниках мироздания. Нам нужно вдуматься и всмотреться в напряженнейшие и сложнейшие искания и борения наиболее смелых и замечательных представителей человеческого рода — святых, философов, художников, мыслителей, пророков — и от них “заключать”, по ним судить о началах и концах, о первых и последних вещах».

Пусть область, куда ведет этот путь, — область фантастического, «постыдного», «бессмысленного» и «невозможного» (с точки зрения разума), — содержание ее важнее простой математической достоверности. Область эта есть область горести и страдания, область трагедии, ибо нельзя иначе, как трагедией назвать сознание непреодолимого противоречия между «вторым зрением» гения и законами разума, которому подчинена его мысль, — но эта трагедия важнее и ближе к истине, чем самодовлеющая философская диалектика. Неслучайно назвал Лев Шестов свою книгу «На весах Иова» и избрал для нее эпиграфом вышеприведенные выдержки из Священной Книги и Плотина. «Странствования по душам» неизбежно обречены превратиться (и иначе быть не может) в хождение по мукам, речь философа становится неистовой, ибо страдание его «песка морей тяжелее»...

Достоевский, чела которого еще при жизни коснулся многоочитый ангел смерти и открыл ему самые сокровенные тайны жизни и смерти, не принужденной довольствоваться общедоступными образами Зосимы и Алеши для выражения своих глубочайших прозрений... Толстой, пытавшийся всю свою долгую жизнь и себя, и весь свой внутренний опыт подчинить разуму; темной ночью бегущий из дома, отрекающийся от всего своего великого прошлого, чтобы предстать с облегченной душой перед Последним Судьей... Спиноза, возлюбивший, как он сам сознается, Господа Бога своего, всем сердцем и всей душой своей и отрекающийся от Бога Авраама, Исаака и Иакова, — убивающий Бога, чтобы заменить Его бездушным и отвлеченным Богом философов... Паскаль, страдающий мучительными болями и требующий вечного бодрствования — ибо до конца мира Христос пребывает «в агонии»; обращающийся помимо Рима и мира (авторитет власти и общественных суждений) к суду Божию; сохранивший для нас свои замечательные «Мысли» лишь благодаря тому, что он книги своей не успел дописать... Плотин с его неистовыми речами, страстно превозносящий разум и отдающий, не колеблясь, предпочтение истине «откровенной» перед истиной «естественной»... Таковы герои философских поэм Льва Шестова.

Подобно року в древней трагедии, над ними всеми тяготеет непоборимая власть разума, с его общеобязательным, всем и всегда доступным авторитетом. Рим и мир торжествуют, как торжествует Мойра

над героем трагедии. Но что такое Мойра, если не олицетворенная неизбежность событий, непоборимая власть видимого мира?

Каково бы ни было отношение к философии Льва Шестова (к сожалению, характер и размеры газетной статьи не допускают более детального разбора его книги), нельзя не признать, что поставленные им вопросы столь значительны, что не могут притязать на исчерпывающий ответ. В самой постановке таких вопросов — о самом важном — неоспоримая ценность «Странствований по душам».

В заключение хочется лишь отметить родство Льва Шестова и его мысли с многими положениями Анри Бергсона в области критики рационализма. Но власти разума, как справедливо замечает Шестов, автор «Творческой эволюции» избежать не мог — с того момента, когда он захотел непосредственные данные своего сознания облечь в формы философских построений. Лев Шестов слишком мудр, чтобы быть ослепленным собственным творчеством, и, конечно, хорошо понимает, что участи Бергсона не избежать и ему. Философия недосказанного обречена быть — да простят мне невольную игру слов! — недосказанной философией. Поскольку же автор «Странствий по душам» пытается «заключать», хотя бы на основании иррационального опыта великих философов и художников слова, он неизбежно попадает под ненавистную ему власть разума... И в конце концов, читателю поневоле кажется: уж не последовательнее ли Гуссерль, с которым в последнем своем очерке полемизирует Шестов, — Гуссерль, впадающий в обратную крайность, отвергающий глубокомыслие и мудрость и, по стопам Декарта и Спинозы, провозглашающий философию «строгой наукой».

Г. Л. ЛОВЦКИЙ

Л. Шестов: На весах Иова (Странствования по душам)

Трудно передать в немногих словах все богатое содержание этого восьмого тома сочинений Льва Шестова, да оно и не так необходимо: читатели «Современных записок» имели возможность ознакомиться почти со всеми философскими трудами, вошедшими в этот том, так как они предварительно появлялись на страницах этого журнала.

Есть еще одна трудность: у Шестова, поставившего себе целью всей своей философской деятельности борьбу с прочными устоями-идеями научной или наукообразной философии, отрыв от почвы строгого, по законам совершающегося догматического мышления, есть определенные задания и темы, но нет фундамента из ряда строгих принципов,